

Константин Станюкович

«Человек за б

Константин Михайлович Станюкович
«Человек за бортом!»
Серия ««Морские рассказы»»

Zmiy

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165649

К.М.Станюкович. «Морские рассказы»: Юнацтва; Минск; 1981

Содержание

I	4
II	12
III	17
IV	19
V	25
VI	30
VII	34

Константин Михайлович Станюкович «ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!»

I

Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось по горизонту.

Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес свою парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.

Пусто кругом.

Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к далекому африканскому берегу,

раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан – оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.

– Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь! – спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.

Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.

Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий сутулый старик Лаврентьев, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марсафалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, – отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любил лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся»), разбавляя во-

дой крепчайший ром, который он дует гольем), – этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами, – обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, – смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.

И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались все молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.

– За самое нутро хватает, подлец, – говорили про подголоска матросы.

Песня лилась за песнею, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством...

– Вали плясовую, ребята!

Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова

так и заливался, так и звенел теперь удалством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.

Макарка, маленький бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.

Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.

– И хорошо же ты поешь, ах, хорошо, пес тебя ешь! – заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.

– Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять, так хучь в оперу! – с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.

Лаврентьич, не терпевший и презиравший чиновников как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сер-

дитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливового писарька и сказал:

– Ты-то у нас опера!.. Брюхо отрастил от лодырства, и вышла опера!..

Среди матросов раздалось хихиканье.

– Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? – заметил сконфуженный писарек. – Эх, необразованный народ! – тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.

– Ишь какая образованная мамзеля! – презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения...

– То-то я и говорю, – начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, – важно ты поешь песни, Егорка...

– Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово... молодца Егорка!.. – заметил кто-то.

В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.

И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара, и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранная сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской

мешковатой складки, – все в нем притягивало и располагало к себе с первого раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.

Это была одна из тех редких счастливых жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочек, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе, за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.

Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер под штормовыми парусами бросало, как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих

гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики матросы, выдавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.

А Шутиков в это время, придерживаясь одною рукою за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.

– И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? – снова заговорил Лаврентьич, посасывая носогрейку с махоркой. – Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел... да все не так забористо.

– Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь... Меня так в деревне и прозы-

вали: певчий пастух! – прибавил Шутиков, улыбаясь.

И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испытый голос.

II

В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел плотный пожилой матрос Игнатов.

Бледный и растерянный, с непокрытой коротко остриженной круглой головой, он сообщил порывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.

– Двадцать франков! Двадцать франков, братцы! – жалобно повторял он, подчеркивая цифру.

Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.

Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он, еще сегодня, после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром – и... замок, братцы, сломан... двадцати франков нет...

– Это как же? Своего же брата обкрадывать? – закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.

Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру.

Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать Семенычем, был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошел, вызвавшись охотником и оставив в Кронштадте жену – торговку на базаре – и двоих детей, с единственной целью прикопить в плавании деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вел крайне воздержанную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и под большим секретом, давал мелкие суммы займы за проценты надежным людям. Вообще Игнатов был человек оборотистый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-ка-

кие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плавал по летам в Финском заливе: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки и с выгодой перепродает в Кронштадте.

Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и притом для матроса порядочные.

– Это бесприменно подлец Прошка, никто, как он! – закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. – Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук... Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? – спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддержки. – Неужто я так и решусь денег?.. Ведь деньги-то у меня Кровные... Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги... По грошам собирал... чарки своей не пью... – прибавил он униженным, жалобным тоном.

Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший, и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора

бранью.

– Этаким мерзавец!.. Только срамит матросское звание... – с сердцем сказал Лаврентьич.

– Да-да... Завелась и у нас паршивая собака...

– Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!

– Так как же, братцы? – продолжал Игнатов. – Что с Прошкой делать?.. Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.

Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписанный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.

И Лаврентьич первый энергично запротестовал.

– Это, выходит, с лепортом по начальству? – прерзительно протянул он. – Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу он матросскую правило? Эх, вы... народ! – И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом. – Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! – прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.

– По-вашему как же?

– А по-нашему так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.

– Мало ли его, подлеца били! А ежели он не отдаст?.. Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора... Такую собаку нечего жалеть, братцы.

– Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов... Небось, Прощка не все украл... Еще малость осталась? – иронически промолвил Лаврентьич.

– Считал ты, что ли!

– То-то не считал, а только не матросское это дело – кляузы. Не годится! – авторитетно заметил Лаврентьич. – Верно ли я говорю, ребята?

И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить не годится.

– А теперь веди сюда Прощку! Допроси его при ребятах! – решил Лаврентьич.

И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прощкой.

В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.



Проход Житин, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного парии. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры походя, и за дело, и так, здорово живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немислимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной, паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипе-

ре сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег – выпивкой и ухаживаньем за прекрасным полом, до которого он был большой охотник; на женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный галльонщик – другой должности ему не было, и состоял в числе шканечных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда Лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, будто взаправду тянет.

– У-у... подлый лодырь! – ругал его шканечный унтер-офицер, обещая ему уже «начистить» зубы.

И, разумеется, «чистил».

IV

Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошенной ноги, как новый пинок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его еще будут бить.

– Ступай за мной! – проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.

Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.

Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещичьей усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношенно. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей,

но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем сидело мешковато и неряшливо, – словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.

Когда, вслед за Игнатовым, Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.

Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаху ударил Прошку по лицу.

Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.

– Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! – сердито промолвил Лаврентьич.

– Это ему в задаток, подлецу! – заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: – Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?

При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю важность обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные недоброжелательные лица, и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты.

Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.

Прошка молчал, потупив глаза.

– Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! – продолжал допросчик.

– Я денег твоих не брал! – тихо ответил Прошка.

Игнатов пришел в ярость.

– Ой, смотри... до смерти избыю, коли ты добром не отдашь денег!.. – сказал Игнатов и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.

И со всех сторон раздались неприязненные голоса:

– Повинись лучше, скотина!

– Не запирайся, Прошка!

– Лучше добром отдай!

Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:

– Братцы! Как перед истинным богом! Хучь под присягу сичас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной, что вгодно, а я денег не брал!

Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых.

Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:

– Не ври, подлая тварь... Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франок вытащил... помнишь? А как у Леонтьева рубаху украл, тоже шел под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присяг-

нуть, что плюнуть...

Прошка снова опустил голову.

– Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деньги? Нешто я не видел, как ты около вертелся... Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? – наступал допросчик.

– Так ходил...

– Так ходил?! Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.

Но Прошка молчал.

Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.

– Тебе ничего не будет... слышишь?.. Отдай только мои деньги... Тебе ведь пропить, а у меня семейство... Отдай же! – почти молил Игнатов.

– Обыщите меня... Не брал я твоих денег!

– Так ты не брал, подлая душа? Не брал? – воскликнул Игнатов с побледневшим от злобы лицом. – Не брал?!

И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку.

Бледный, вздрагивающим всем съезжившимся телом, Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.

Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбужденный безответностью жертвы, свирепел все более и более.

– Полно... Будет... будет! – раздался вдруг из толпы голос Шутикова.

И этот мягкий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.

Многие из толпы, вслед за Шутиковым, сердито крикнули:

– Будет... будет!

– Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!

Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.

– Ишь ведь, какой подлец... запирается! – переводя дух, проговорил Игнатов. – Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст денег! – грозился Игнатов.

– А может, это и не он! – вдруг тихо сказал Шутиков.

И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся лицах.

– Не он? Впервые ему, что ли?.. Это бесприменно его дело... Вор известный, чтоб ему...

И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.

– И зол же человек на деньги! Ох, зол! – сердито

проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой. – А ты не воруй, не срами матросского звания! – вдруг прибавил он неожиданно и выругался – на этот раз, по-видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.

– Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? – спросил он после минутного молчания. – Кабысь больше некому.

Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.

Толпа стала расходиться.

Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.

– Запрятал, шельма, куда-нибудь! – решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.

V

Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.

Матросы спали на палубе – внизу было душно, – а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкновению, коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками.

В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.

Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом, тихо окликнул его:

– Это ты... Прошка?

– Я! – встрепенулся Прошка.

– Что я тебе скажу, – продолжал Шутиков тихим и ласковым голосом: – ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой... Он тебя вовсе изобьет на берегу... безо всякой жалости...

Прошка насторожился... Этот тон был для него

неожиданностью.

– Что ж, пусть бьет, а я евойных денег не касался! – ответил после короткого молчания Прошка.

– То-то, он не верит и, пока не вернет своих денег, тебе не простит... И многие ребята сомневаются...

– Сказано: не брал! – повторил Прошка с прежним упорством.

– Я, братец, верю, что ты не брал... Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов еще грозит бить... А ты вот чего, Прошка: возьми ты у меня двадцать франков и отдай их Игнатову... Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь – приневоливать не стану... Так-то оно будет аккуратней... Да, слышь, никому про это не сказывай! – прибавил Шутиков.

Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидел бы, что оно смущено и необыкновенно взволновано. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова.

Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.

– Так бери деньги! – сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой ка-

питал.

– Это как же... Ах ты, господи! – растерянно бормотал Прошка...

– Эка... глупый... Сказано: получай, не кобянься!

– Получай?! Ах, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! – отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: – Только твоих денег, Шутиков, не нужно... Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом... Не желаю... Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.

– Так, значит, ты...

– То-то я! – чуть слышно промолвил Прошка. – Никто бы и не дознался... Деньги-то в пушке запрятаны...

– Эх, Прохор, Прохор! – упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.

– Теперь пусть он меня бьет... Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку... жарь его, мерзавца, не жалей! – с каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. – Все перенесу с моим удовольствием... По крайности, знаю, что ты пожалел, поверил... Ласковое слово сказал Прошке... Ах ты, господи! Вовек этого не забуду!

– Ишь ведь ты какой! – промолвил ласково Шутиков.

Он помолчал и заговорил:

– Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой: брось-ка ты все эти дела... право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему... Стань форменным матросом, чтобы все, значит, как следует... Так то душевней будет... А то разве самому тебе сладко?.. Я, Прохор, не в укор, а жалеючи!.. – прибавил Шутиков.

Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били – вот какое было ученье.

И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.

Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул наворачивавшуюся слезу.

Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:

– Бей еще... Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!
Удивленный Прошкиной смелостью, Игнатов пре-

зрительно оглядел Прошку и повторил:

– Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать... Сгинь, сволочь, но только смотри... попробуй еще раз ко мне лазить... Искалечу! – внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.

Тем и ограничилась расправа.

Благодаря ходатайству Шутикова, и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после убирки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво, относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».

– Испужался Прошка Семеныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! – говорили матросы во время утренней чистки.

VI

С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унизит Шутикова в чужих глазах. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу все, до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков тихо управляет на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим все, что ни делал Шутиков. Иногда днем, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.

– Ты чего, Прохор? – спросит, бывало, приветливо Шутиков.

– Так, ничего! – ответит Прошка.

– Куда ж ты?

– А к своему месту... Я ведь так только! – скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит Шутикова, и уйдет.

Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то починить его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубашу с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.

– Молодец, Житин... Важная, брат, работа! – одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубашу.

– Это я тебе, Егор Митрич... Уважь... Носи на здоровье.

Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков, наконец, принял подарок.

Прошка был в восторге.

И лодырничать стал Прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное, и Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травмы потеху.

Особенно любил дразнить его один из шканечных, забиячный, но трусливый молодой матрос Иванов. Как-то однажды, желая потешить собравшийся кружок, он донимал Прошку своим глумлением. Прошка, по обыкновению, отмалчивался, и Иванов становился

все назойливее и безжалостнее в своих шутках.

Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился.

– Это, Иванов, не того... нехорошо это... Чего ты пристал к человеку, ровно смола.

– Прошка у нас не обидчивый! – со смехом отвечал Иванов. – Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у ба-тюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил... Не кочевряжься... Расскажи, Прошенька! – глумился на общую потеху Иванов.

– Не тронь, говорю, человека... – строго повторил Шутиков.

Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и во-ра Прошку, Шутиков так горячо заступается.

– Да ты чего? – окрысился вдруг Иванов.

– Я-то ничего, а ты не куражься... Ишь тоже нашел над кем куражиться.

Тронутый до глубины души и в то же время бояв-шийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприят-ностей, Прошка решил подать голос:

– Иванов ничего... Он ведь так только... Шутит, зна-чит...

– А ты съездил бы его по уху, небось перестал бы так шутить.

– Прошка бы съездил... – удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным. –

Ну-ка, попробуй, Прошка... Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.

– Может, и сам бы съел сдачи.

– Не от тебя ли?

– То-то от меня! – сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.

Иванов стусевался. И только когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку.

– Однако... нашел себе приятеля Шутиков... Нечего сказать... приятель... хорош приятель, Прошка-гальюнщик!

После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.

VII

Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.

Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное – относительная близость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марсельями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.

Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.

Шутиков стоял на грот-русленях, прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил оружие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движе-

ниями выбирает ее...

Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:

– Человек за бортом!

Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:

– Еще человек за бортом!

На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.

Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:

– Фок и грот на гитовы!

С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.

– Он, кажется, схватился за буюк! – проговорил капитан, отрываясь от бинокля. – Сигнальщик... не спускай их с глаз!..

– Есть... Вижу!

– Скорей... скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! – нервно, отрывисто торопил капитан.

Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались, как бешеные. Через

восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми под начальством мичмана Лесового тихо спускался с боканцев.

– С богом! – напутствовал капитан. – Ищите людей на ост-норд-ост... Да не заходите далеко! – прибавил он.

Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал, по крайней мере, милю.

– Кто это упал? – спросил капитан старшего офицера.

– Шутиков. Сорвался, бросая лот... Лопнул пояс...

– А другой?

– Житин! Бросился за Шутиковым.

– Житин? Этот трус и рохля? – удивился капитан.

– Я сам не могу понять! – ответил Василий Иванович.

Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся от глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.

На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подзорные трубы.

Так прошло долгих полчаса.

– Баркас идет назад! – доложил сигнальщик.

И снова все взоры устремились на океан.

– Верно, спасли людей! – тихо заметил старший офицер капитану.

– Почему вы думаете, Василий Иванович?

– Лесовой не вернулся бы так скоро!

– Дай бог! Дай бог!

Нырять в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.

– Молодцом правит Лесовой! Молодцом! – вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.

Баркас подходил все ближе и ближе.

– Оба в шлюпке! – весело крикнул сигнальщик.

Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.

– Счастливо отделались! – проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная, хорошая улыбка.

Улыбался в ответ и Василий Иванович.

– А Житин-то... трус, трус, а вот подите!.. – продолжал капитан.

– Удивительно... И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! – прибавил Василий Иванович в пояснение.

И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.

Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.

Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.

Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.

– Молодец, Житин! – сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.

А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо робея.

– Ну, ступай переоденься скорей да выпей за меня чарку водки... За твой подвиг представлю тебя к медали, и от меня получишь денежную награду.

Совсем ошалевший Прошка не догадался сказать: «Рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой.

– Снимайтесь с дрейфа! – приказал капитан, поднимаясь на мостик.

Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были по-

ставлены убранные паруса, и минут через пять клипер снова несясь прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.

– Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! – остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу. – Портной, портной, а какой отчаянный! – продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.

– Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю, – шабаш... Богу отдавать душу придется! – рассказывал Шутиков. – Не продержусь, мол, долго на воде-то... Слышу – Прохор голосом кричит... Плывет с кругом и мне буюк подал... То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел.

– А страшно было? – спрашивали матросы.

– А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! – отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.

– И как это ты, братец, вздумал? – ласково спросил Прошку подошедший боцман.

Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:

– Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч... Вижу, он упал, Шутиков, значит... Я, значит, господи благослови, да за им!

– То-то и есть!.. Душа в ем... Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь... Накось, покури трубочки-то на закус-

ку! – сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.

С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.